

*Смотрите!* В Праге зима. На мать городов с ее тысячами шпилей опускается ночь. Взгляните, какая темнота у вас под ногами, на каждой улице, в каждом переулке, как будто везде метлой взвихрили мягкую черную пыль, взгляните на каменных апостолов на старом Карловом мосту и на голубоглазых галок на плечах святого Яна Непомуцкого. Смотрите! Она идет по белеющей брусчатке моста, опустив голову, — Хелен Франклин, сорока двух лет, не высокого и не маленького роста, не брюнетка, но и не блондинка. На ней ботинки, которые она носит с ноября по март, на запястье — материнские стальные часы. Искрящиеся крупинки снежной соли падают ей на рукава и на плечи. Перетянutoму поясом скромному пальто, бесцветному, как и она сама, уже девять лет. Через плечо перекинут узкий ремешок сумки, в которой лежит ее работа на сегодня (перевод с немецкого на английский инструкции к стиральной машинке) и зеленое яблоко.

Зачем вам отвлекаться на такое скучное зрелище, когда над головой рвется покров низких туч, а из

перевернутой площадки серебряного месяца на речную гладь льется молоко? Совершенно незачем — если только по той причине, что это последние часы и долгие минуты короткого дня, когда Хелен ничего не знает о Мельмот, когда гром всего лишь гром, а тень — просто темное пятно на стене. Если бы вы могли ей сейчас об этом сказать (шагните вперед! возьмите ее за руку и шепните!), быть может, она бы остановилась, побледнела и в замешательстве уставилась на вас. Быть может, она бы посмотрела на освещенный замок, возвышающийся над Влтавой, на белых лебедей, спящих на берегу, потом развернулась на низких каблуках и пошла обратно наперерез толпе. Но нет, бесполезно: она бы просто равнодушно и слегка удивленно улыбнулась (она всегда так делает), стряхнула бы вашу руку и двинулась дальше.

Хелен Франклин останавливается на пересечении моста и набережной. Трамваи с грохотом тянутся к Национальному театру, где в оркестровой яме облизывают язычки своих инструментов гобоисты, а первая скрипка трижды стучит смычком по пюпитру. Рождество было две недели назад, но механическая елка на Староместской площади по-прежнему вращается под мелодичные звуки Штрауса, и туристки из Хоува и Хартлпула по-прежнему держат в руках бумажные стаканчики с глинтвейном. С Карловой улицы доносится запах ветчины, дыма и трдельников в сахаре, приготовленных на углях; здесь можно полюбоваться оперением сидящей на перчатке совы, а за пригоршню монет осторожно подержать ее на руке. Но все это

сцена, за которой видны канаты и подъемные блоки, — поддаться самообману приятно разве что на один вечер, не больше.

Хелен не обманывается и не обманывалась никогда — развлечения Богемии не для нее. Она не смотрела спектакль на астрономических часах, чей создатель был ослеплен, чтобы другие его творения не превзошли пражские куранты и не посрамили город; не покупала матрешек в алых цветах английского футбольного клуба; не любовалась Влтавой в сумерках. Она изгнанница, совершившая преступление, которое невозможно искупить, и теперь смиренно отбывает пожизненное наказание — сама себе присяжный и судья.

Загорается зеленый свет, и Хелен, подхваченная шумным приливом хлынувшей на дорогу толпы, оказывается прямо у железного ограждения. Она достает из кармана перчатки — и вдруг различает за шумом голосов богатых корейцев, которые спускаются к пришвартованным у причала золотисто-медным катерам, свое собственное имя, донесенное ветром с реки. Кто-то зовет ее: «Хелен! Хелен Франклин!» — так отчаянно, словно бы она уронила кошелек. Вскинув голову и машинально прикрыв рот рукой в перчатке, она вглядывается в толпу и замечает замершего в свете фонаря высокого мужчину, без пальто, в одной голубой рубашке, — дрожа от холода, он прижимает к груди что-то большое и темное. Их глаза встречаются, он делает знак рукой. На ее «Да?» он отвечает повелительным, нетерпеливым: «Да! Может,

подойдешь ко мне? Подойди, пожалуйста». Он так дергает рубашку, будто полупрозрачный шелк вызывает зуд, и его бьет крупная дрожь.

— Карел? — говорит Хелен, так и не двинувшись с места.

Это Карел Пражан — ровно половина всех ее друзей и знакомых. Их дружба завязалась в кафе Национальной библиотеки Чешской Республики, где тем утром не оказалось свободных столиков. Он высок и изящно худ, темные волосы всегда блестят. Он носит шелковые рубашки, туфли из замши или телячьей кожи — в зависимости от времени года, — и неизменно выглядит так, будто только что побрился. Есть в нем что-то привлекательное, хоть красотой он и не блещет. Но даже с такого расстояния, даже когда проходящие мимо дети в ярких пуховичках толкают со всех сторон, можно различить землистый цвет его лица и запавшие глаза — как у человека, который не спит ночами. От холода у него посинели губы, а рука, прижимающая к груди темный предмет, неподвижна, будто все суставы в ней окаменели.

— Карел, — говорит Хелен и медленно направляется к нему.

Сделав с десяток шагов, она замечает, что держит он папку из грубой черной кожи, с истершимися от времени кромками, трижды обвитую кожаными шнурами. В слабом свете фонаря блестит отметина на краю папки, но что там написано, не разобрать.

— Карел, — произносит Хелен, — вот, надень-ка мой шарф. Что произошло?.. Где твое пальто?.. Тебе

плохо? — Тут ее осеняет догадка, которая, пожалуй, ближе к истине. — Что-нибудь с Теей?

Перед ее глазами возникает Тея, подруга Карела и, несомненно, лучшая его половина, безжизненно обмякшая в инвалидном кресле и устремившая пустой взгляд куда-то сквозь оштукатуренный потолок первого этажа: ночью еще один тромб в головном мозге — именно этого они всегда и боялись — все же убил ее.

— С Теей? — нетерпеливо переспрашивает Карел. — Да что с ней может быть? Она жива-здорова... Нет, не надо. — Он с раздражением отталкивает протянутый шарф и пристально всматривается в Хелен, словно силясь понять, зачем она тут.

— Простудишься.

— Забери! Не простужусь. Да хоть бы и так, черт с ним. Давай-ка лучше присядем.

Он оглядывается, будто собираясь усесться по-турецки прямо на тротуаре, потом поднимает кожаную папку и встряхивает ее у самого лица Хелен. Она отмечает, что папка тяжелая, вся в разводах от влаги, плотно набита какими-то бумагами, а в уголке, прежде прикрытом большим пальцем Карела, полустертая позолоченная монограмма — Й. А. Х. Хелен с тревогой понимает, что в том, как Карел держит папку, сквозит одновременно и жадность, и отвращение, будто он всю жизнь жаждал ею завладеть, а обретя наконец, обнаружил, что от нее мерзко пахнет.

— В общем, ничего хорошего. Мне придется кому-то рассказать, а ты как никто другой сумеешь все